

Федор  
ДОСТОЕВСКИЙ

*Записки  
из подполья*



Санкт-Петербург

## «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»: ПРОБЛЕМА ПУТИ

«Записки из подполья», написанные в 1864 году, — увертюра Достоевского к его пятикнижию; в повести нашли свое выражение великие прозрения художника-мыслителя. В центре первой части стоит проблема человека. Вторая часть послужила идеологическим этюдом для романного творчества Достоевского.

Словом «я» начинаются «Записки из подполья», затем оно многократно повторено героем. «Я» — не человек «вообще». «Я» — существо обособленное: есть «я» («я всегда был один») и — «все». Таким видит себя образованный и одинокий городской человек девятнадцатого столетия.

Место действия — Петербург. Для «слишком сознающего» человека, по заверению подпольного героя, «сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре». Города, по его остроумному уточнению, «бывают умышленные и неумышленные». Петербург «умышлен» Петром I, сотворен вне связи с национальными корнями и — по контексту повести — экспериментален. Именно такой город — живительная почва для человека, *не укорененного* в национальном бытии.

«Я человек *больной*... Я *злой* человек»<sup>1</sup> — такими заявлениями героя открывается «Подполье». Медики, как он тут же спешит заверить, не могут излечить его болезнь:

---

<sup>1</sup> Здесь и далее курсив в цитатах из «Записок из подполья» мой. — Н. М.

она совершенно особого свойства. Речь идет не о физических и душевных болях, но о духовных страданиях. Боль пронизывает слово подпольного человека, оно бьется в стремительных перепадах его настроений, в бесконечных волнениях, в тягостных переживаниях и в неразрешимых тупиках. Герой — человек невыносимо страдающий, но потому-то и усиленно мыслящий.

Осуществление самого себя, своей мысли невозможно вне общения с другим человеком. Повествование в «Записках из подполья» разворачивается от первого лица, вместе с тем оно от начала до конца повести диалогично. Герой говорит для другого человека, предполагает его возражения и спорит с ним, приводит ему свои доводы, пытается убедить в своей правоте. Его мысль развивается в непрерывном диалоге с воображаемым слушателем. Ее размах и напряжение поразительны: ответы оппонентов рождены в его же сознании.

Герой указывает на исток своих страданий. В современной жизни, по классификации подпольного человека, есть два типа людей. Одни — «так называемые непосредственные люди и деятели», они же «порядочные люди». Это люди «обыкновенного человеческого сознания», которого вполне достаточно «для человеческого обихода». К ним относится человек «настоящий, нормальный» и «глупый». Таким, по мнению героя подполья, и хотела «его видеть *сама нежная мать — природа*, любезно зарождая его на земле». Вторая категория — *антитеза* первой. К ней относятся «слишком сознающие» люди. Усиленно сознающий человек выходит «*не из лоно природы, а из реторты*», и следовательно, он — человек экспериментальный. Он — человек особенный: «На меня никто не похож, и я ни на кого не похож. „Я-то один, а они-то все“, — думал я и — задумывался». С «лабораторным» происхождением связан для подпольного героя вопрос его собственного существования. Подпольный человек для самого себя становится проблемой.

Обратив свой взор на себя, он не разворачивает отвлеченные рассуждения, а «предъявляет» (А. Мацейна) в диалоге свое конкретное существование. Что же предлагает такой человек своему слушателю? Прежде всего — эксперимент в области сложившихся в обществе установлений. Натура подпольного человека двойственна: он способен в отдельные минуты «сознавать все тонкости „всего прекрасного и высокого“» и именно в эти минуты высших эстетических наслаждений делать самые гадкие и «неприятные деяния».

Герой сближает эстетические и этические понятия. Он допускает подмену одной логики другой. В результате происходит смешение добра и зла, «прекрасным» может оказаться как хороший, так и дурной поступок. Высшие эстетические переживания не только не препятствуют аморальным поступкам, но, напротив, провоцируют их: «Чем больше я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней». Области этического и эстетического в поступках героя переплетались, неизбежным порождением чего была безобразная «тина» его жизни.

Далее, казалось бы, должно последовать разделение героем этического и эстетического: тяга к добру («чем больше я сознавал о добре») не может одновременно сопровождаться претензиями на «высокое и прекрасное». Однако герой, опирающийся только на самого себя, не способен разграничить добро и зло. И он останавливается на том, что беспощадно изводит себя стыдливими угрызениями. И в этом-то положении он испытывает совершенно особое, неведомое «нормальному» человеку чувство: «Горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение». «Ретортный» человек — первооткрыватель чувства позорного и сладостного наслаждения от самоунижения, от самоказни.

Подпольный — человек бунтующий. Он выступает против современного понимания человека. В своих рассуждениях он в чем-то сближается с автором повести, а в чем-то расходится.

Герой одарен сильным умом и недюжинными аналитическими способностями. Он настаивает на сложности человека. «Непосредственные люди и деятели» принимают «ближайшие и второстепенные причины за первоначальные» и тем самым обретают основания для действия. Усиленно мыслящий и сознающий человек, доискиваясь до «первоначальных» причин, таких оснований не имеет и потому сидит, ничего не делая: «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сидение». Однако бездеятельность подпольного человека сопровождалась его же повышенной творческой активностью: внутренняя энергия требовала выхода. Подпольный — герой-мечтатель. Он, как и Голядкин, герой ранней повести Достоевского «Двойник», «сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял».

Во время, когда для образованного общества в качестве приоритетного провозглашалось научное знание, а религиозное мировосприятие ставилось под сомнение, герой Достоевского указал на следствия сведения человека к исключительно сознательной деятельности. Подпольный считает, что сознание само по себе, во-первых, допускает сознательное деяние того, что человеку «совсем бы не надо делать». После чего он сознательно же истязает самого себя за сделанную гадость и, наконец, испытывает, как ни парадоксально, наслаждение от «...слишком яркого сознания своего унижения...». Во-вторых, сознание, по мнению этого героя, может только ограничить человека знанием того, что «...он действительно подлец». Человек в этом случае становится самому себе пределом. Не случайно в его дальнейших рассуждениях не нашлось места для религиозного понятия *преображение*, он употребляет слова, указывающие толь-



ко на механические действия, не предполагающие какого-либо сущностного изменения («передыаться», «не сделаешься»). Вместе с тем само это сладостное упоение болезненными чувствами отнюдь не отвечало его духовным устремлениям. Он скорее обречен на него, не случайно в свои рассуждения герой ввел образ «последней стены». Последняя стена означает для него отсутствие выхода, абсолютный конец, *невозможность сделаться другим человеком*. И тогда человеку открывается «наслаждение отчаяния»: «...когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения».

В «Записках из подполья» с образованным, оторванным от национальной почвы человеком связан «дарвинский» смысловой план. В начале 1860-х годов Достоевский стал свидетелем стремительного распространения естественно-научного знания, безоговорочного перенесения современниками научных результатов на человека, на его жизнь и на мир в целом, активного пересмотра традиционных представлений и почти восторженного принятия новых истин, особенно молодыми людьми.

В те годы широкое признание в Западной Европе и в России получило дарвиновское учение о происхождении видов, при этом в центре интенсивных обсуждений оказалась не сама естественно-научная теория, а *следствия*, которые она влекла за собою. У современников Достоевского, во-первых, появилось новейшее, продарвиновское понимание человека: человек перестал пониматься как творение Божие. Во-вторых, представление о борьбе за существование стало претендовать на статус основного, фундаментального закона жизни человеческого сообщества. В-третьих, при осмыслении социальной картины, какой она складывалась в свете этого представления, почти автоматически происходило выдвигание отдельной фигуры сильного, остальные же представляли как единая масса слабых. В-четвертых, в культуру была внесена идея социального эксперимента. В той или иной

мере все это найдет отклик как в первой, так и во второй частях «Записок из подполья».

В свете дарвинского учения под сомнением для современников оказалось прежде устойчивое представление о человеке, сотворенном Богом, как Царе природы, теперь же предлагалось усвоить диаметрально противоположное: человек подчинен законам природы. И, следовательно, лишен свободы.

Достоевский был категорически не согласен с мыслью о зависимости свободной воли человека от естественных (в дарвинском их понимании) законов природы. «Зимними заметками о летних впечатлениях», написанными и опубликованными за год до «Записок из подполья», в современную дискуссию Достоевский ввел идею развития личности и, различая разные этапы этого процесса, он указал на возможность ее «самого сильного развития»: «Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, *высочайшей свободы собственной воли*. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека». Достоевский говорил в этом случае о «законе природы», решительно отсекая новейшее, продарвинское его понимание.

Однако герой его следующего произведения, «Записок из подполья», находится в сложном положении. Подпольный человек, с одной стороны, новому пониманию человека упорно сопротивляется, против новых ис-

тин страстно бунтует, но с другой — не опирается на устойчивые основания народной жизни и не просветлен верой. Следовательно, он только до определенной черты близок автору.

Подпольный пытается определить те качества, которые выводят его из-под провозглашаемого в современном обществе всевластия законов природы. Он однажды сравнил себя с «горбуном или карликом», явно обойденными их дарами. Если допустить мысль о себе как слабым и зависящем от законов природы, то, заключает он, «...выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы». Однако следующая его мысль, появившаяся при допущении, что он подчинен этим законам, сразу осложняется его же представлением, что всецело их власть над ним не простирается: «Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно». Чувство обиды обозначено героем как одно из искомым им качеств.

Другое качество — способность совершить великодушный поступок. Позднее Достоевский напишет: «...если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), — то это значит отнимать у человека личность и *свободу*. А это человек отдаст всегда с трудом и отчаянием». Поступить великодушно во имя другого — значит сохранить свою личность и свободу.

Однако в связи с Подпольным, а позднее и с Закладчиком (повесть «Кроткая») Достоевский будет рассматривать великодушный поступок в проблемном аспекте: он может быть предпринят человеком во имя самого себя. Закладчик начнет деятельно искать возможность для его свершения, а на его основе попытается реализовать свои совершенно особые претензии в мире людей. С Под-



польным (в первой части повести) намечена эта же перспектива.

В контекст рассуждения подпольного человека автор вводит сюжет повести А. С. Пушкина «Выстрел». Сильвио, ее главный герой, встретив на своем жизненном пути счастливого баловня судьбы, испытал «мучения неравенства» (Н. Я. Берковский). Он подчинил свою жизнь стремлению отомстить обидчику, но затем поступил великодушно. Парадоксалист чувствует те же мучения, но, словно учитывая опыт Сильвио, сосредоточивается уже на первоисточнике своей обиды — на «законах природы», одаривающих людей по своему усмотрению. Великодушный поступок подпольный связал с событием прощения.

Вместе с тем Подпольный, с одной стороны, противостоит законам природы, но, с другой, все-таки допускает мысль об их власти над собой, ибо, повторим, не просветлен верою и не опирается на национальную почву. И открывает, что, оказавшись в подчинении законам природы, он не может быть великодушным в полной мере («ничего бы не сумел сделать из моего великодушия»). Следовательно, думает он, необходимо найти возможность для великодушного поступка, когда за ним останется право прощать. Это право станет атрибутом его независимости от законов природы и особого положения среди других людей.

Сейчас же он замыкается в *подполье*. Подполье — это его единственный и решительный ответ и «деятелям», и «законам природы», и новому представлению о человеке. Однако он понимает, что его собственное «подполье» не дает ему выхода. Но он-то глубоко сомневается в его отсутствии и настойчиво его ищет.

В бытии подпольного героя поиск выхода неразрывно связан с бунтом. Природе нет дела до желаний человека, до того, нравятся или не нравятся ему ее законы. Это понимают как «нормальные» люди, так и подпольный человек. Вот только отношение к этому у них раз-

ное. Первые, руководствуясь исключительно арифметической логикой, соглашаются с таким положением дел: «...восставить нельзя: это дважды два четыре! <...> Вы обязаны принимать ее (природу. — Н. М.) так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена...» Принятие законов природы дает «нормальным» людям успокоение и хоть какое-нибудь, пусть даже арифметическое, но знание о мире. Подпольный человек понимает, что пробить эту «стену» невозможно, вместе с тем он категорически не согласен примириться с любой из «невозможностей». Ему «мерзит» примирение: «Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться...» Здесь, пишет известный Достоевсковед Б. Н. Тихомиров, «в герое вдруг обнаруживается некое иррациональное, неразложимое моральное ядро. И оно оказывается последним пределом его личности, которого не касается всеразьедающая ирония его рефлексии»<sup>1</sup>. Само наличие этого неразложимого морального ядра предполагает возможность прозрения и преображения Подпольного.

Пока же герой желает добраться до первоначальной причины имеющегося положения дел и решить наконец вопрос, есть ли какая-то высшая справедливость в нем. Однако герой сталкивается с неизвестностью. В повести отчетливо проявляется тема «онтологической насмешки» (внимание к этой теме в творчестве Достоевского привлек Б. Н. Тихомиров).

Достоевский в «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе», опубликованных за три года до «Записок

---

<sup>1</sup> Тихомиров Б. Н. «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского: поэтика целостности // Историческая поэтика и пути изучения и преподавания русской словесности. СПб., 2009. С. 143.

из подполья», обратился к своему раннему творчеству, к повестям о чиновниках и заметил о них: «Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. *Кто-то гримасничал передо мною*, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал!» Этот пассаж уже привлекал внимание замечательных ученых — А. Л. Бема, П. М. Бицилли, С. Г. Бочарова. «Кто-то», по мнению Бочарова, соотносится для Достоевского с автором «Шинели»<sup>1</sup>. Подобную мысль в связи со спецификой восприятия Достоевским гоголевского мира ранее высказал Бем<sup>2</sup>. Однако в контексте всего творчества Достоевского образ «Кого-то» вряд ли можно конкретизировать. Герой «Записок из подполья», натолкнувшись на «законы природы и арифметики», как на «каменную стену», осознает, что «даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут *подмен, подтасовка, шулерство*, что тут просто бурда, — *неизвестно что и неизвестно кто*». И с этим человеку никогда не примириться: «...Не смотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!» Философ В. Розанов указал на связь этих слов подпольного человека с высказыванием героя «Бесов»<sup>3</sup>. Кириллов в страстном монологе о «законах природы» и Христе заключил: «...Вся планета есть ложь и стоит на лжи и глухой насмешке. Стало быть, самые законы пла-

---

<sup>1</sup> Бочаров С. Г. Холод, стыд, свобода. История русской литературы sub specie Священной истории // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 138.

<sup>2</sup> Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 88.

<sup>3</sup> Розанов В. В. О легенде «Великий инквизитор» // О Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 1991. С. 124.



неты ложь и диаволов водевиль». Розанов заметил в связи с этим высказыванием: «Очевидно из повторений и страстности тона, что Достоевский вложил здесь свое собственное сомнение, с которым он долго и трудно боролся»<sup>1</sup>.

С чем связано сомнение автора «Записок из подполья»? Свет на драму подпольного человека отчасти может пролить библейская Книга Иова<sup>2</sup>. Уже в «Подполье», открывающем первую часть повести, дано несколько отсылок к этой книге (одна из них отмечена современной американской исследовательницей Ольгой Меерсон<sup>3</sup>). По библейской истории, жизнь праведного Иова распалась на две части: долгая счастливая жизнь «непорочно-го, справедливого, богобоязненного и удаляющегося от зла» человека — и время его же тяжелейших испытаний. Всевышний позволил сатане подвергнуть Иова испытаниям. Иов, желая знать причину своего невыносимого страдания, ведет страстный диалог со своими друзьями и с самим Всевышним. Он ставит перед людьми и Богом глубинные и бунтарские по своему существу вопросы. При этом Иов *не отрекся* от Бога, в чем друзья поспешили его обвинить, он *не утратил веру* в Него. Протоиерей А. Мень говорил, что в Книге существует два Иова. В связи с вопрошающим Иовом он утверждал: «В Книге Иова содержится весь карамазовский бунт против Бога и мира, в ней дан и полный набор экзистенциалистских характеристик человека»<sup>4</sup>. Но в этом случае нам тем более важно подчеркнуть, что в ветхозаветной истории связь между счастливым праведным Иовом

---

<sup>1</sup> Там же. С. 114.

<sup>2</sup> К Книге Иова отсылал, размышляя над «Записками из подполья», К. В. Мочульский.

<sup>3</sup> *Meerson O. Old Testament lamentation in the underground man's monologue: a refutation of the existentialist reading of Notes from the underground // Slavic and East European Journal. Vol. 36. № 3 (1992). P. 319.*

<sup>4</sup> *Мень А. Мудрецы Ветхого Завета // Знание — сила. 1990. № 7. С. 80.*



и многострадальным Иовом *не нарушена*, это в целом один Иов. «Переживание Бога-Спасителя в душе Иова настолько сильно, что он никогда, ни в какое мгновение не усомнился в Нем», — настаивал А. Мацейна<sup>1</sup>. На вопросы Иова мог ответить только Творец, и Он сделал это.

Достоевский сопровождает рассказ своего героя отсылками к истории только «второго» Иова. В таком случае «второй» Иов оказывается *вне целого* всей ветхозаветной книги, в итоге его органическая связь с «первым» Иовом если и не утрачивается до конца, то существенно ослабевает. Проблемной становится сама *связь* человека с Богом. Решение автора «Записок из подполья» усилить тему «второго» Иова было весьма и весьма продуктивным с точки зрения постановки новых вопросов. Является ли Он *единственным* адресатом бунтарских вопросов человека? Есть ли какой-то другой адресат его вызова? Не существует ли еще один творец — творец-шулер? И если он существует, то возникает опасность «подмены, подтасовки, шулерства», в результате чего человек призовет к ответу не «другого адресата», но Бога как источника бытия? Все эти вопросы, так или иначе, связаны с Богом. Однако со временем вполне может появиться предположение: не есть ли человек основание самому себе? Такое предположение открывает для подпольного целый ряд новых и новых вопросов.

Если праведный Иов обращает свои вопросы к Всевышнему, то бунт подпольного героя точного адреса не имеет. Усиливающаяся боль только подтверждает существование *кого-то* — неизвестного автора драмы подпольного человека. И если от самоунижения подпольный человек чувствовал наслаждение, то в связи с унижительной рабской зависимостью от нелюбезных к нему «законов природы», с «бесцельностью» зубной боли, с неизвестно чьими насмешками — уже «высшее сладострастие». Это извращенное чувство не случайно воспри-

---

<sup>1</sup> Мацейна А. Драма Иова. СПб., 2000. С. 272.

нимается героем как «высшее» — оно свидетельствует о масштабах его бунта. Это бунт еще и против *кого-то*. Но здесь-то и таится величайшая опасность для подпольного человека: усомниться в Боге и рано или поздно объявить самого себя богом.

Герой, впадающий в бездны бунта, автору «Записок из подполья» не близок, ибо тот далек от народного идеала. «Пушкин, — писал в 1864 году Достоевский, — угадал самую основную суть того, что народ наш считал и считает за самую высшую нравственную красоту души человеческой: это — тихое, кроткое, спокойное (непоколебимое) *смиреннолюбие* — если так можно выразиться: что-то младенчески-чистое и ангельское живет в представлении народном о том, что народ считает своим нравственным идеалом».

Подпольный человек, будучи в курсе современно-го научного знания, отмечает неизменную склонность людей к отвлеченным мечтаниям. Его особый интерес вызывают «статистики, мудрецы и любители рода человеческого». Исторический процесс полон попытками отдельных «мудрецов и любителей» создать рецепты по исправлению человеческого общества, в котором будут преодолены страдания человека. В неприятии просветительских, рационалистических и утопических советов герой вторит автору.

Философ Д. И. Чижевский справедливо полагал, что «русское просвещение XIX века с его универсальным рационализмом, убеждением в способности ума постичь всю действительность и даже создать новую и лучшую действительность было тем основным в русской жизни, против чего боролся Достоевский»<sup>1</sup>. Романист, осмысляя

---

<sup>1</sup> Чижевский Д. И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике) // Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском: Сб. ст. по ред. А. Л. Бема. М., 2007. С. 66. Под «русским просвещением XIX века» Д. И. Чижевский имел в виду нигилизм. Исследователь А. де Лазари заметил, что аргументации русских почвенников и «сам дух философствования соответствовал

последние события Парижской коммуны в письме Страху от 18 (30) мая 1871 года, указал: «Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до дела (48 год, 49 — теперь) — выказывает унижительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности все тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм)».

Начало 1860-х годов — это время появления в России оптимистических теорий «обновления всего рода человеческого». Одна из них — теория «расчета выгод» Н. Г. Чернышевского. В «Записках из подполья» не назван ни роман «Что делать?», ни его автор. Однако адресат полемических выпадов подпольного человека хорошо известен. Чернышевский предложил программу по созданию совершенного общества. К основополагающим свойствам человеческой природы он отнес любовь человека к жизни и к себе, его стремление к личной выгоде. По мнению автора романа, полноценное развитие человека в настоящем и будущем возможно, ибо у человека есть изначальное знание о превосходстве добра над злом. Человек полюбит добро, как только это станет для него выгодно. Ему «можно быть добрым и счастливым», а столкновения разнонаправленных личных выгод вполне возможно избежать. Разум, по Чернышевскому, всемогущ как в жизнедеятельности отдельного человека, так и в общественной истории. Разумный «расчет выгод» представлен в романе как универсальный регулятор для разрешения различных противоречий в частной и общественной жизни людей. Однако своеобразие и сложность природы современного человека этой теорией не учитывались.

---

по форме и по содержанию романтическому консерватизму Запада, выступившему с критикой просветительства и веры в возможность рационализации общественной жизни, переустройства ее на началах, выверенных „чистым разумом“» (*Лазарь А. де*. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М., 2004. С. 219).